

4157
30287
Ник. Умаров



Горячее
сердце





Н. Ш П А Н О В

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ

**С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ
М О С К В А
1 9 4 2**

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ

Я познакомил вас с этим человеком, после того как мы вернулись с востока. Вероятно, вы не хуже меня помните рассказы о том, как он дрался на своем ястребке. Право, я убежден: умея он справляться со своими порывами, он непременно был бы удостоен звания Героя Советского Союза. А вместо этого вот он смещен: пришлось расстаться с командованием полком. Всем нам — летчикам его полка было родным и непреложно истинным его утверждение:

— Истребитель, проживший день, не сбив ни одного врага, — «дармоед советской власти».

Эта неуклюжая, но всем понятная характеристика: «дармоед советской власти» висела над нами как постоянный призыв: «бить, бить». И мы били. С утра до вечера наши взоры были устремлены к небу с одним единственным призывом: «Покажись!» И стоило противнику появиться в бледном сиянии знойного неба, как начинался «танц-класс».

Да, мы дрались! Противник должен по сей день помнить неизменное соотношение потерь — три к одному в нашу пользу.

После той кампании Прохор дрался на финском фронте. Я встретил его не скоро. В одесской биллиардной он с ожесточением заколачивал шары так, что лузы вылетали вместе с кусками бортов.

— Ты можешь понять меня?— мрачно сказал он, когда мы за стаканом вина справляли нашу встречу.— Худо мне.

— Может быть, не так уж худо? — сказал я.

Он помотал своей тяжелой, словно вырубленной топором головой:

— Худо. Я — «дармоед советской власти»! Это надо понять. Полгода гнию на границе, рубать не велят!

— Не велят — значит, так нужно,— возразил я,— значит, это в порядке вещей.

— У тебя всегда все в порядке,— огрызнулся Прохор. — По полочкам разложено: тут нужно, там не нужно. Я так не могу. Я же знаю: эти скрипки рано или поздно нам свинью подложат. Так дайте же мне рубануть. Знаешь, какие у меня ребята в полку?

— Представляю себе. Подобрал?

— Х-ха!

— Потерпи.

— Разве это жизнь для истребителя: глядеть, как скрипки на той стороне границы елозят, и не сметь рубануть? Эх, только юдю и остается: сплясать с горя. А ну, старик, есть у тебя «Лявони́ха»¹?

Пластинка его любимой «Лявони́хи» нашлась, и мы сплясали. Снизу пришли просить пощады: танец был жестоким испытанием для соседей.

С тех пор я его не видел. Мне говорили, что он снова был отрешен от командования частью. Случай был такой, какой и должен был с ним произойти: «скрипач» перелетел бессарабскую границу и углубился в нашу сторону. Таких велено было принуждать к посадке. Важно то, что приказ был ясен: сажать. Но на этот раз дело шло уже к вечеру, и, если верить Прохору, румынский самолет мог уйти от нашего звена,

¹ «Л я в о н и х а» — белорусский народный танец.

пользуясь надвигающейся темнотой. А Прохору только этого и нужно было: он рубанул. От скрипача остались обгорелые обломки. Прохор редко мазал.

Никакие оправдания не помогли. Прохора лишили командования частью.

Помнится, за прощальным стаканом он заверил меня, что исправится, и поделился своими успехами в новом деле: он тренировался в работе ночью.

— Чтоб ни днем, ни ночью... Понятно?

— Чего понятней!

Прошло не менее года. Мы не видались. И вот я столкнулся с ним — он командует частью ночных истребителей. Часть на блестящем счету.

— «Дармоедов советской власти» у меня нет, — с гордостью заявил он мне.

Дело было у меня дома, и никто не мог нам помешать поставить «Лявонику». Тяжелые сапоги Прохора гремели на весь дом. Я с восхищением глядел на неунывающего гиганта.

— А ты все такой же, — сказал он, словно жалеючи, — цирлих-манирлих. Да ты уж не немец ли, а? Впрочем, знаешь, что касается порядка, я тоже... того: изменился. — Он многозначительно поднял крепкий, как сук, палец. — Порядок у меня теперь на первом плане.

— Свежо предание... — недоверчиво сказал я.

— Не говори. Ежели я пожелаю... Ого! У меня теперь, как в лучшем доме: порядок прежде всего.

— К примеру?

— А вот, — он насупил брови, и лицо его выразило решимость: — нынче, брат, народ стал увлекаться тараном. Спору нет: ежели нет другого способа ссадить гада, так бей самым собой, своей машиной. Это правильно. Но в том-то и дело: молодежь маленько перегибать стала. Глядишь — у него и боекомплект еще не израсходован, и позиция выгодная была, и сам невре-

дим, а чуть что — норовит винтом фрица по хвосту рубануть, либо даже по крылышку. Были и такие.

— Зато верняк,— сказал я.

— Верняк-то он верняк, но кому нужен такой размен: истребитель на истребитель? Это нам невыгодно. Если еще бомбардировщик, идущий к цели,— так-сяк. И то один на один не годится. У нас попрежнему должно быть: три к одному. Вот наша пропорция — большевистская. За одного нашего — трое фрицев.

— Так что же ты решил?

— Решил я с горячностью молодежи бороться. — Прохор встал и в раздумьи прошелся по комнате. — Запрещаю. Запрещаю таран, ежели он не вызван необходимостью. Понятно?

— Ты это мне?

— Тебе и прочим...

К вечеру мы были на аэродроме. Ночь была ясная, лунная. Прохор ушел в воздух с первым же вызванным по тревоге звеном. Следом ушли второе и третье звенья. В мутном серебре лунного света я видел несколько мгновений его звено, но задолго до боя, конечно, потерял. Когда я сел, Прохора еще не было. Не вернулся он и тогда, когда все сроки посадки прошли. Оба его ведомых давно спали. Я не мог уснуть и каждые пять минут забегал к начальнику штаба узнать, нет ли известий о Прохоре. Ничего не было.

Только утром, когда я наконец забылся тревожным сном, мне показалось, что я слышу его голос. Прислушался. Действительно — Прохор.

— ...ну что тут было делать: рубанул я ему по задку и вся недолга. Да, видать, неудачно. Винт у меня стал бить так, что, того гляди, мотор вырвет. Вот и пришлось садиться где попало.

— Так, так,— сухо сказал начальник штаба — ма-

ленький медантичный майор — и принялся что-то торопливо записывать в блокнот. — А боезапас?

— Что боезапас? — удивленно спросил Прохор.

— Боезапас у вас был израсходован?

— Израсходован? — Прохор нехотя ответил: — Нет...

— Значит, вы имели еще шанс сбить противника огнем, — сказал майор.

— Да вы что пристали!.. — рывкнул вдруг Прохор. — Ну, может статься, имел шанс, может статься, сбил бы. Почему я знаю!

— Значит, — сухо отчеканил майор, — по вашим собственным установкам, которые мы только вчера давали летчикам, вы не должны были таранить, а должны были...

— Должны, не должны... — передразнил Прохор, но вдруг умолк и сердито уставился на майора: — Снимут с полка?

— Постольку, поскольку установки командования... Прохор сердито перебил:

— Я вас спрашиваю: снимут или нет?

— Поскольку... — начал было опять майор, но спохватился и сухо закончил: — Дело начальства.

— Я бы снял, — отрезал Прохор и бросил сердито: — Можете идти.

Когда дверь за начальником штаба затворилась, я тронул Прохора за плечо:

— Какого же чорта ты таранил, ежели...

— А!.. — он сердито махнул рукой. — Сердце не выдержало. Сдалось мне, что фриц ускользнет, ну и рубанул.

— Ссадил?

— А то, — Прохор усмехнулся.

— Бомбардировщик?

— «Ю-88».

— Шел он к цели?

— Какое это имеет значение?

— А такое, что своим тараном ты не только его уничтожил, но и цель уберег.

— Да ведь у меня боезапас почти не тронут был! — всердцах крикнул Прохор и так ударил меня по плечу, что заныла ключица. — Ты пойми, аккуратист: я же его огнем должен был. А тут такое дело: в какие-то кусты свою осу засадил. Чорт его знает, в каком она виде!

— Размен был бы выгоден, даже если бы ты осу совсем разложил: бомбардировщик с полным грузом в обмен на истребитель... — убеждал я.

— Это по-твоему, по-аккуратному. А, по-моему, не так. — Он снова поднял было руку, но я во-время увернулся от его ласки. — Будь я на месте командира соединения, непременно снял бы такого, как я, с командования полком.

Он с досадой взмахнул рукой и, не раздеваясь, повалился на койку. Через минуту ровное дыхание говорило о том, что он спит. Сон его был крепок и глубок. Словно он сам только что не приговорил себя к отрешению от командования частью. В третий раз.

Я не знаю, чего он заслуживает: взыскания или награды. Не знаю. Может быть, и вправду: нельзя воспитывать доверенных тебе людей, нарушая самим созданные правила. Может быть, может быть. Но мне попрежнему мило его горячее сердце. Даже если его «снимут с полка», я глубоко убежден: он снова заработает его. И вот помяните мое слово: он обязательно получит героя. С таким сердцем нельзя не получить. Но это будет уже другой человек, это будет волевой командир без стихийных противоречий — герой во всех отношениях.

СЛЕПЕНЬ

I

Глядя на Прохора, вы, наверное, захотели бы спросить: правда ли, что за плечами этого беспечного, беззаботно улыбающегося человека больше двухсот боевых вылетов? Правда ли, что в его активе сотня воздушных боев? Может ли быть, чтобы этот присяжный балагур, как ни в чем не бывало, уже «сунул в мешок» шестнадцать немецких самолетов?

Но достаточно вам перехватить любовный взгляд, каким полковник следит за своим любимцем, когда тот этого не замечает, и вы поймете: все — именно так.

Наш полковник не любитель выражать свои чувства в бурных излияниях. Он скуп на слова, медлителен, даже как будто немного ленив в движениях, но жестоко ошибется тот, кто поверит, будто под этим спокойствием не скрывается огромный темперамент. Это хорошо известно нам, видавшим нашего полковника во всяких обстоятельствах и знающим, какую краской гнева подчас наливаются лицо, шея, даже глаза его. Но и тут, как всегда, лишь несколько сухих, еще более спокойных чем обычно слов. А что уж скрывать — едва ли кто-либо во всем соединении вызывал краску гнева на лице полковника чаще, нежели его и наш общий любимец Прохор! Тем не менее мне никогда не доводилось уловить во взгляде полковника ничего, кроме беспрерывной

ства, когда он следил за взлетом машины, уносившей Прохора в боевой полет. Зато единственный случай, когда я слышал открытое восхищение полковника, относится именно к Прохору.

— Слепень, а не человек,— сказал полковник, и во взгляде его сверкнули искры задора и гордости. Относилось это короткое определение к одному из ценнейших боевых качеств летчика — к умению навязать противнику бой и довести его до конца даже тогда, когда единственным ясно выраженным желанием немца бывает: «удрать, удрать во что бы то ни стало». Вторая не менее яркая особенность Прохора — чувство боевой дружбы, доведенное до высшего предела. Если Прохор видит товарища в беде, ничто не может уже удержать его от атаки. Соотношение сил теряет значение. Из этого не следует, будто Прохор не способен к рассудочному анализу обстановки, не умеет проявить расчетливости и хитрости там, где нельзя взять напором. Но, чтобы понять, как сочетаются эти противоречивые качества в одном человеке, нужно пролежать под крылышком бок о бок с Прохором столько, сколько пролежал я.

Думать или говорить о Прохоре — это значит перечислять его боевые дела. Прохор, воздух и бой неразделимы. При всякой возможности он старается сам вести своих людей на задание. Если бы вы знали, какие чудесные дела есть в послужном списке Прохора! И в каждом из них, как музыкант в своем произведении,— он весь как на ладони...

Шли упорные бои в районе Вязьмы. Их исход решал судьбу одного из секторов на подступах к Москве. Кроме обычной работы по прикрытию своих штурмовиков, на нас была возложена оборона воздуха в районе станции. Именно эта часть задачи и пала сегодня на Прохора.

Он принял задание. Как всегда, несколько минут одинокой задумчивости над картой. Собраны летчики. Задача разъяснена каждому. Даны ответы на вопросы. Минута — и маски из покрытых инеем деревьев упали с самолетов. Ведущее звено во главе с Прохором вырывается на старт. Быстрая тень его истребителя пронесится над аэродромом, делается все меньше, исчезает вдали...

Над станцией Вязьма противника в воздухе еще не было. Прохор воспользовался этим и прошел несколько к западу, на солнце. Оттуда было лучше наблюдать за воздухом в зоне станций.

Через несколько минут, километрах в четырех севернее озера, Прохор заметил группу фрицев. Это были «Мессершмитты-109». Они шли со стороны солнца с превышением примерно в тысячу метров. Прежде чем Прохор решил, примет ли атаку, или атакует сам, один из его ведомых вдруг качнул: «оставьте меня», дал газ и пошел в одиночку навстречу противнику. Прохор понял, что положение для боя стало невыгодным. Он покачал второму ведомому: «следовать за мной» и стал набирать высоту. Благодаря тому, что одновременно с набором высоты Прохору удалось зайти на солнце, немцы смаху проскочили вниз, не заметив его.

Прохор стал выходить в исходное положение для боя. Немцы явно потеряли желание драться. По всей вероятности, им предстояло прикрывать бомбардировщики, идущие на станцию. Но именно поэтому Прохор и решил во что бы то ни стало навязать им бой. Тут он вдруг увидел, что летит совершенно один: куда-то исчез и второй ведомый. Что же делать: снижаться? Нельзя — «мессеры» непременно накроют его сверху. Набирать высоту? Тоже не годится — собьют. Ясно: уходить некуда. А раз так, осмотрительности не оставалось места: если принимать неравный бой — одному

против трех, то уж так, чтобы... одним словом, «по-прохоровски»...

Быстро работает мысль. Взор обыскивает пространство вокруг, чтобы оценить положение противника. Вот, немного оторвавшись от других, идет звено «Мессершмиттов». Прохор решает развернуться на восток, атаковать немцев в лоб, прорваться сквозь их строй и, не меняя курса, уйти к себе. Так же мгновенно, как работает мысль, совершают движения руки и ноги, шевелится оперение, машина ложится в крутой разворот и... Прохор видит: на хвосте у него висит четвертый немец. Зная, что «Ме-109» не любит крутого виража, Прохор именно виражем уходит от севшего на хвост немца и одновременно отрывается от первой группы врагов. У него несколько секунд передышки. Используя их, Прохор спешит набрать сколько можно высоты. Берет на себя, дает газ. Рука еще довершает движение сектора, а, повернув голову, Прохор уже видит в хвосте у себя новую пару фрицев. Попытка оторваться скоростью ничего не дает. Немцы жмут. Маневром удается оторваться от одного, но второй мгновенно заходит в хвост. Прохор принимает решение: уйти от врага пикированием до бреющего. Ручка от себя. Машина валится на нос и... Прохор видит над собою еще трех немцев, а выше еще одного. Теперь их семеро против него одного. Но размышлять некогда, вот уже и земля — страшный враг летающего человека. Скорее ручку на себя. Самолет выходит из пике. И человек и машина чувствуют, какого напряжения стоит им этот маневр. Проклятое «g»¹ растет с неудержимой быстротой, но человек и машина должны выдержать любую перегрузку: на хвосте немцы, их семеро. Короткий взгляд на компас: курс 270 — чистый запад. Как раз обратный тому, что

¹ Принятое в физике обозначение ускорения силы тяжести.

нужно Прохору для выхода к своим. Во что бы то ни стало лечь на курс 90, на восток... Нога жмет педаль...

«Мессершмитты» упрямо не дают развернуться. Стоит Прохору сунуть ногу, как сразу же идущие справа немцы дают дружную очередь. Слышно, как стучат пули по корпусу самолета. Машину толкает разрывом снаряда. Дана другая нога, и снова та же история с другой стороны: огненный ливень сразу с трех самолетов. А седьмой словно прилип к хвосту. И вот удивительно: этот седьмой не ведет огня. Только жмет и жмет. Да и остальные шесть прекращают стрельбу, как только Прохор ложится на прямой курс. Прохору становится ясно: немцы гонят его к себе. Хотят посадить живьем. «Везут кофе пить», — мелькнула было озорная мысль, но тут же сменилась другой: «Неужто ж конец?.. Нет, врешь!» Рискую зацепиться за землю, самолет Прохора на брющем входит в бочку. Не доделав ее, обратным разворотом вправо Прохор выводит машину в сторону ближайшей пары фрицев. Самолет оказывается на курсе 90. Полный газ. Все семеро немцев с ходу проскакивают мимо. Прохору удается оторваться от дистанции огня. Теперь жать и жать. Сектор дан доотказа. Вот когда дозарезу нужна высота, чтобы добавить скорости снижением. Но машина идет над самой водой озера, — откуда взять скорость?..

Немцы снова на хвосте. Настигают. Занимают прежние места. Прохор пробует пошуровать ногами, но свирепые очереди тотчас же заставляют держать прямо. Только прямо — иного пути нет. Машина несется над самой водой. По поверхности лесного озера летят вихрь брызг, срываемых винтами восьми истребителей... По сторонам крутые берега озера. Они сближаются. Озеро делается уже и урке. Несколько мгновений — и оно превращается в теснину с крутыми обрывами, высоких берегов. Немцам приходится менять строй, чтобы фланго-

вые самолеты не врезались в откосы. Всего доля секунды, но ее достаточно Прохору: разворотом с набором высоты он выскакивает над берегом. Перепрыгивает через лес. Немцы снова проскочили за хвостом. Нужно использовать эти секунды — лечь на свой курс. Над самым лесом, едва не цепляя крылом за деревья, Прохор разворачивается до 90. Послушная машина вращается почти на месте, ее крыло стоит вертикально. И сразу в поле зрения Прохора оказываются четыре немца. Три остальных куда-то исчезли. Четверка строится крестиком и начинает поливать Прохора огнем со всех сторон. Прохор пользуется каждой лоштинкой, каждой складочкой местности, кустами, просеками. Машина утюжит деревья. Взгляд Прохора шныряет вокруг, отыскивая новые укрытия, но как псы, вцепившиеся в благородного оленя, несутся по его следу четыре «Мессершмитта». При каждом повороте головы, при каждом нажатии педали Прохор видит блеск их очередей. Однако движения Прохора быстрее вражеских пуль. Едва заметив, по блеску, начало очереди, он дает ногу. Послушный истребитель отворачивает. Сверкание выстрелов с другой стороны — другая нога. Так удастся уберечь машину от попаданий в жизненные части. Пусть бьют по консолям, по корпусу. Только бы не поразили мотор и баки. Спасти машину, спасти себя, чтобы завтра снова в бой...

Прицельная очередь резанула по фюзеляжу. Прохор бросает машину в открывшуюся справа ложбинку. Немец справа проскакивает над головой, едва не задев преследуемого. Ложбинка тесна. Винт рубит ветви деревьев, кусты. За самолетом остается полоса оголенного леса — листья сорваны струей от винта.

Рядом с самой кабиной вспыхивает молния — снарядный разрыв. Осколок рассекает бровь. Кровь заливает глаза. Ничего не видно. Прохор почувствовал, что

мазанул машиной по кустам. Беречься земли. Но кровь стекает на глаза; багровый полог застилает все. Выхода нет — впереди только кровавый туман. Нужно садиться. Прохор проводит рукой по глазам. Сверкнул свет: просека. Зашел на посадку. Один за другим два снаряда рвутся у самой головы. Осколки впиваются в затылок, в руки, в колени. Последним усилием Прохор выравнивает машину. Она бреет по вершинам леса. По стальному животу самолета бьют ветки и сучья. А сверху, ясно слышные теперь сквозь гул притихшего мотора, беснуются пулеметы четырех «Мессеров». Впереди, перед самым лицом, вспыхивает молния, гремит оглушающий взрыв. «Пушка «Мессера», — отмечает сознание. Лицу становится жарко. Все плывет в багровом покое...

II

Выслушав доклад о том, что Прохор не вернулся с задания, полковник сжал зубы. Загорелое лицо, налившись кровью, стало еще пунцовее, глаза сделались маленькими и злыми: слепень не вернулся! Полковник знал, как трудно вырваться из цепких лап семи преследователей, и все-таки сказал:

— Вернется. — Он хотел придать своему голосу уверенность.

Может быть, кое-кто и поверил ему, но я-то видел, что сам он думает совсем не то, что говорит.

Прошли сутки, другие. В каждом возвращающемся самолете мы хотели видеть истребитель Прохора, хотя все уже знали, что общий любимец погиб.

Кое-кто повторял за полковником:

— Может быть, вернется...

— А то нет!.. — бодро говорил полковник, и глаза его снова загорались злым огоньком мести. — Если в нем есть хотя капля крови, будет здесь...

Противник продолжал ожесточенное наступление и обход Вязьмы. Голова его танковой колонны, пробив как тараном, наше расположение, застряла на лесных дорогах. То и дело взлетали наши штурмовики, чтобы долбить по этой панцирной голове. Противник знал, что едва ли не самым страшным врагом его танков являются советские штурмовики. От них невозможно укрыться ни в лесах, ни в болотах. Их бомбы и пушки настигают везде. Переворачивают танки, рвут гусеницы. Вдребезги разносят машины с мотопехотой. Противник стремился парализовать штурмовики на их аэродромах. То и дело рвался он к нашей точке, пользуясь каждым облачком. А облаков сегодня, как назло, много. Тяжелым пологом мчатся они над нами, время от времени рассыпаясь тонкой снежной крупой, уныло стучащей по крыльям самолетов, затвердевшим листьям засыпающих на зиму деревьев, по стеклам землянок.

Вдали ухнула очередь разрывов, другая. Немец ошибся. Бомбы легли совсем не в тот лес, где прячется аэродром. Не успели мы по звуку определить, куда развернулись бомбардировщики, как слышим совсем низко, над самым леском, стрекотанье небольшого мотора. Ошибиться нельзя — это связная машина. Кто бы это мог быть?

Свои все на месте.

Что за неожиданный гость?

Самолет садится, пассажир вылезает. Но он странно медленно бредет по аэродрому. Лицо полковника на секунду мрачнеет. Потом так же быстро светлеет. Он быстро идет навстречу прибывшему. Мы нерешительно делаем несколько шагов следом и видим, как наш обычно сдержанный на слова и жесты командир, широко раскрыв объятия, принял в них гостя и трижды поцеловал. Это — Прохор.

Опознать Прохора по лицу было невозможно. Вся голова его представляла собой белоснежный ком бинтов. Правая рука на перевязи. Свободной левой он опирался на палку, и все-таки это был наш Слепень, наш любимый Прохор.

— Дома?.. — ласково бросил полковник, заглядывая в крошечное отверстие в бинтах, откуда глядел одинокий, но веселый глаз моего друга.

— А то как же?.. — Прохор криво улыбнулся опухшей губой.

— Ну, товарищи, кто говорил, что Слепень не вернется?..

Полковник обвел нас искрящимся от радости взглядом. А когда наш полковник глядит такими глазами, нельзя не улыбнуться. Все улыбались. Улыбались боевые друзья Прохора — летчики, улыбались штабные командиры, улыбались мотористы техсостава, улыбались связисты.

Позже, сидя у койки Прохора, я услышал рассказ об его бое и заключение этого рассказа, которое вы еще не знаете.

— ...Прижали они меня... — медленно шевеля распухшими губами, говорил Прохор, — как сел, не помню. Пехотинцы мне потом говорили, будто выкатился я из машины, как мешок, и упал. Фрицы в воздухе надо мною елозят и строчат. А я поднялся, прикрыл плечи парашютом, — значит, котелок работал: память и сознание сохранил. Пошел к лесу. Там бойцы подобрали меня и перенесли на перевязочный. Очнулся, когда мне в затылке стали ковырять. Это вынимали осколки. Сунули меня потом в самолет. И... в Вязьму. Ну, а там дали направление в тыловой госпиталь. Поглядел я на эту бумажонку, и так мне стало скучно: неужто ж с родною частью расстаться?

И вижу тут: проходит под окошком знакомый человек — дружок мой по школе, но форма на нем аэрофлотская. Окликнул я его:

— Здорово, Сашок.

— Прохор?

— Чем ты тут командуешь, — говорю, — почему не в боевой?

— Не пускают, — говорит, — диспетчер я, раненых вывозим.

Поговорили мы с ним, и мне тут мысль пришла. Тихонько так ему:

— Слушай, Сашок, друг ты мне или нет?

— Вопрос...

— Недоразумение у меня: видишь ли, ваш летчик, из молодых, видно, был, вез меня в часть да заплутался, вон куда привез. А тут меня за тяжеляка считают и чорт его знает, куда отправляют. Меня в части ждут, а лететь не на чем. Дай, — говорю, — самолет.

Поглядел он на мое оформление:

— Врешь ведь, Прохор.

Я в выраж:

— А говорил: друг. Самолета дать не можешь...

Видно, совесть в нем заговорила: дал.

Прохор не успел закончить рассказ. В дверях избы появился полковник, следом за ним врач.

— Дома? — весело спросил полковник.

— А как же иначе, — сказал Прохор.

— Дома-то, дома, — сказал врач, — но я все же не могу его тут оставить.

— Ну-ну, перестаньте, — сказал полковник, и глаза его сузились, — какой смысл увозить летчика из части? Потом ни он нас, ни мы его не найдем.

— Закон остается законом, — настаивал врач: — не

имею я права оставлять в таких условиях тяжело раненного.

— Это кто же тяжело раненный? — Прохор поднялся на койке. — Кто тут раненый, я спрашиваю?

Чтобы не волновать его, мы вышли из избы. Но уговоры ничего не дали: врач стоял на своем. Единственное, чего добился полковник: Прохор будет эвакуирован в госпиталь, ближайший к расположению нашей части, чтобы оставаться у нас на глазах.

В тот же вечер мы заботливо уложили в санитарку нашего любимца, уверенные, что расстаемся с ним надолго, если не навсегда. Даже полковник ходил мрачный. Он знал, что в боях будет не до лазарета.

— Предали,— зло скривил губы Прохор, когда я выходил из санитарки,— а еще друзья.

Подпрыгивая на замерзшей грязи, автомобиль исчез за лесом.

III

Мы неожиданно переменили стоянку. Сборы были короткими. Штабной эшелон уходил на своих автомобилях перед рассветом. Последние звезды тонули в сером сумраке неба. Мутная пелена снежной крупы неслась нам навстречу и с ожесточением била в ветровое стекло. Под баллонами хрустело сало дорожных луж. Проезжая село Карманово, я вспомнил, что именно здесь должен быть госпиталь, куда врач собирался поместить Прохора. Я отыскал здание больницы, превращенной в госпиталь. Холодный рассвет вливался в широкие окна пустых и гулких палат. Ни Прохора, ни других раненых тут уже не было. Одиноким санитар объяснил мне, что госпиталь перешел на новое место. Куда именно, он не знал. Это значило, что следы Прохора утеряны. Не без раздражения захлопнув дверь, я покинул больницу и

мимо неприглядных сараев, загромождавших больничный двор, направился к своей машине. У одного из покосившихся сарайчиков я услышал осторожный свист. Дверь приотворилась, и просунувшийся в щель палец таинственно поманил меня. Когда я распахнул дверцу, необыкновенное зрелище предстало мне: из-за поленницы высунулась белая чалма бинтов.

— Прохор! — крикнул я в изумлении.

— Тише, — прошипел он и приложил палец к губам.

В больничном белье, завернувшись в одеяло, он спрятался сюда, чтобы не ехать с эвакуирующимся госпиталем.

— Ты с ума сошел, — сказал я. — Хотел попасть в лапы противнику?

— Всего только присоединиться к своей части, — уверенно ответил он. — Рано или поздно должны же были за мной заехать.

Нагнав автомобиль полковника и докладывая ему о проделке Прохора, я ждал взрыва гнева. Но вместо этого глаза полковника блеснули смешком:

— Право, настоящий слепень, — сказал полковник с видимым удовольствием: — что в немцев, что в своих: вопьется, не отстанет. Пока не доедем до новой стоянки, врачу ни звука.

Я завернул Прохора в свой кожаный, усадив его поудобнее, приказал двигаться в путь. Снова наш Прохор был с нами. Но, чтобы он не слишком зазнавался, я все же сказал:

— Как только приедем, сдам тебя врачу — и баста!

— Поживем, увидим, — спокойно ответил он. — А пока дай-ка закурить.

ЧЕЛОВЕК В ОЧКАХ

Вы поймете, почему мы с таким нетерпением и беспокойством ждали его возвращения, когда я расскажу вам суть его задания. Прохор должен был совершить посадку в тылу противника, взять там руководителя партизанской группы и доставить его к нам с важнейшими сведениями, собранными для нас партизанами.

Время возвращения Прохора давно прошло. Мы напрасно следили за небом: никаких признаков его самолета. Ну что же, бывают и неудачи. А жаль. Прохор был замечательный летчик. Горяч немного, но на то в нем и билось русское сердце...

Едва брезжил рассвет следующего дня, когда мы совершенно неожиданно увидели самолет Прохора уже над самым аэродромом. Он подошел на бреющем, выскочил из-за леса и сел едва не в самые огороды. Я сразу увидел, что он не в своей тарелке. Он сухо доложил полковнику о выполнении задания и, не отвечая на расспросы товарищей, пошел к себе. Я молча следовал за ним. Но он не заговаривал даже со мною. Так мы пришли в свою землянку. Он сбросил кожанку. Все так же молча лег на койку. Доски закрипели под его тяжелым телом. Я думал, что он чрезмерно утомлен полетом, и решил было оставить его в покое. Но, когда луч света из распахнутой мною двери упал на его лицо, я увидел, что Прохор не спит. Глаза его были устремлены в одну точку. В их выражении мне почудилось нечто, чего я не замечал раньше. Это было недо-

умение, какой-то тяжелый вопрос, которого не может решить человек.

Я вернулся и присел к нему на койку...

Вот как было дело:

Сел Прохор, как было условлено, на рассвете и стал ждать появления своего пассажира. Но то ли Прохор ошибся местом, то ли партизану что-то помешало притти — его не было. Прошел час, другой. Стало совсем светло. Нечего было и думать взлететь в таких условиях, даже если бы пассажир теперь и пришел. Прохор, как мог, замаскировал машину и снова лег на свой наблюдательный пункт в кустах. Наконец партизан пришел. Это был небольшой сухой человек лет сорока, заросший неопрятной круглой бородкой, какие бывают у людей, отпускающих бороду поневоле. Одет он был в старую, вытертую добела кожаную куртку, какие когда-то называли шведскими. На носу у него были старые перевязанные ниткой очки.

Вид у него был совсем не воинственный, мало вязавшийся с рассказами об его партизанской работе.

Причиной его опоздания была неожиданно подвернувшаяся возможность ликвидировать группу штабных офицеров, остановившихся на ночлег в деревне. Операция прошла удачно. В руках партизанского командира очутились важнейшие материалы — целый портфель.

Человек в очках приоткрыл свой портфель — обыкновенный потертый портфель маленького советского работника, и Прохор увидел пачку немецких карт.

— А они не могут по твоему следу... сюда? — спросил Прохор.

— Нет.

— Как бы не помешали улететь.

— Нет,— так же твердо повторил партизан. После некоторого раздумья он сказал: — Кроме жены и сынишки, никто не знает, где я.

Прохор удивленно поглядел на него:

— Они, что же, с тобой были?

Тот молча кивнул, ласково улыбнувшись:

— Она мой первый помощник... Золотой помощник.

— Так, так,— нашелся только сказать Прохор.—
Теперь до вечера пролежим... Ты кто же по специальности?

— Агроном,— коротко ответил партизан.— Влетаю на закате?

— Лишь бы света хватило для взлета,— сказал Прохор.— А там дорога знакомая. И в темноте доберемся.

— Так, так,— ответил теперь агроном и надолго умолк. Потом с прежней ласковой усмешкой сказал:— Они выйдут вон на ту дорогу посмотреть, как мы улетим.— Его светлоголубые близорукие глаза ласково прищурились при взгляде на дорогу, ведущую к деревне...

Так они лежали до вечера. Когда солнце было уже близко к горизонту, Прохор сказал:

— Пора.

Но агроном ничего не ответил. Он знаком приказал: «ложись». Его взгляд был устремлен на дорогу. Прохор увидел на фоне заката две фигуры: женщины и ребенка. Они медленно шли по дороге к леску. Он понял, что это жена и сын агронома.

— Ладно, друг,— сказал Прохор,— пора.

Но тот сердито прошептал:

— Ложись, говорят.

Прохор нехотя опустился в росистую траву, но, поглядев в ту сторону, куда смотрел агроном, замер: со стороны деревни, наперерез четко вырисовывающимся на алом закате фигурам, катилось несколько мотоциклов: немцы. Нечего было и думать взлетать у них на глазах. Прохор с досадой стукнул кулаком по земле.

Немцы настигли пешеходов, когда те были уже да-

леко от кустов, скрывавших Прохора и агронома. В кустах было слышно каждое слово с дороги, видна каждая мелочь. Прохор отчетливо видел женщину. Она была так же невелика ростом, как агроном, и казалась совсем слабенькой. На ее угловатые плечи был накинут рваный платок. Голова была простоволоса. Мальчик стоял около матери и потупясь глядел в землю. Он был бледен и худ.

— Учительница? — спросил немец женщину.

— Да, — спокойно ответила она.

— В твоей школе напали на немецкий штаб.

— Я не живу в школе. — В ее голосе продолжали звучать необыкновенное спокойствие.

— Отвечать на вопрос! — крикнул немец. — В твоей школе убили офицеров?

— ...да.

— Ты должна знать, кто убил.

Женщина ничего не ответила. Она молча глядела куда-то в сторону, словно ждала увидеть нечто, что помогло бы ей найти ответ.

— Отвечать! — крикнул немец и шагнул к ней.

Женщина вздрогнула, как будто успела забыть о его присутствии, и тихо ответила:

— Не могу.

— Можешь. Мы знаем, мы все знаем.

Она недоуменно посмотрела на говорившего.

— Вы ничего не знаете. — И покачала головой: — Ничего.

Порывшись в сумке, немец поднес что-то к ее глазам:

— Твой муж.

Женщина ничего не ответила и отвернулась. Лежавшие в кустах поняли, что ей показали фотографию агронома.

Мальчик быстрым движением хотел сорвать кар-

руку у немца, но тот ударил его по руке. Ребенок скрикнул от боли.

— Он-то скажет,— уверенно произнес немец и толкнул перед собою ребенка: — Иди вперед.

— Нет, нет,— быстро проговорила женщина, и в голосе ее в первый раз прозвучал испуг: — Не надо... Я кажу...

Проход всем телом двинулся было к дороге, но на его рукав легла твердая рука агронома.

— Тогда говори. Ты останешься жива и этот твой... — немец кивнул на мальчика.

— Но... я не могу.

— Не надо оперы,— насмешливо произнес немец. — Нам некогда.

— Я не могу при нем,— тихо, так что слова едва донеслись до кустов, произнесла женщина. Она кивнула на ребенка: — Он скажет отцу.

— Он ничего никому не скажет,— уверенно произнес немец, и рука его привычным быстрым движением откинула клапан кобуры и вынула пистолет. При этом движении мальчик бросился к матери с отчаянным криком:

— Мама!

Больше он ничего не успел сказать. Два выстрела, один за другим, свалили его. Третий уже был послан неподвижному телу ребенка.

Проход чувствовал, как дрожит лежащая на его заляпистые рука агронома.

Женщина стояла как изваяние. Ее голова была откинута, неподвижный взгляд — устремлен в небо, заливаемое алым заревом заката.

— Теперь говори! — крикнул немец.

Раскинув руки, словно для распятия, женщина судорожно выдавила:

— Вы зверье... вы стали бы его мучить, чтобы за-

ставишь говорить... он умер легко, мой мальчик.

Ее голова бессильно поникла, руки упали, как крылья подстреленной птицы.

Немцы поволокли ее к деревне.

Когда вдали затих стук мотоциклеток, Прохор почувствовал, что у него совершенно затекла рука, сдавленная агрономом. Светлоголубые глаза партизана были устремлены туда, где на фоне алого горизонта темнели крутые крыши избушек...

На рассвете они улетели...

— Как ты мог это выдержать? — удивленно спросил я Прохора.

— Если бы рядом со мною не было этого маленького человека в очках, я... сорвал бы задание, — сказал Прохор и закрыл глаза. — Иди-ка, дай мне поспать.

Я вышел из землянки, хотя и видел, что глаза его попрежнему открыты и едва ли он собирается спать.

МУЗЫКАНТ

I

Полковник неодобрительно покачал головой:

— Вы попросту устали. Нужно отдохнуть.

Проход вскинул свою тяжелую голову:

— Прошу дать мне любое задание, и вы увидите, как я устал.

Но полковник невозмутимо повторил:

— Вы устали, и я заставлю вас отдохнуть.

— Не нужно мне отдыхать,— упрямо пробурчал Проход.

— Доложите начальнику штаба: вам приказано отдохнуть. Поезжайте в город и раньше завтрашнего дня не возвращаться!

В голосе полковника прозвучали нотки, которые мы достаточно хорошо знали, чтобы уже не возражать, когда их услышим. Проход нехотя встал:

— Разрешите быть свободным?..

Нам ничего не оставалось, как ехать «отдыхать».

Мы приехали в город, когда он тонул уже в вечерней мгле. Непривычно просторными казались улицы с редкими автомобилями. Тротуары были тесны для идущих почти ошупью пешеходов. Если бы белая полоса по краю не предупреждала об опасности, люди растеклись бы по мостовым, прямо под идущие без огней автомобили.

Мы не знали в городе ничего, кроме ресторанов,— обычного нашего прибежища в отпуск. Мы шли мимо затемненных витрин, мимо едва мерцающих огней светофоров. У площади мы попали в поток людей, стремившихся к слабо освещенной двери большого здания. То был концертный зал. Давался фортепианный концерт. Прохор в нерешительности остановился перед афишей.

— Раньше рассвета возвращаться не велено? — спросил он.

— Не велено,— ответил я.

— В ресторане столько не высидеть?

— Не высидеть.

— Займемся интеллигентным развлечением,— сказал он со смешком и ткнул в афишу.

— Тебе неинтересно,— сказал я.

— Я для тебя,— ответил он и отворил дверь. — Ты слушаешь, а я сосну.

Я знал: это говорится, чтобы позлить меня.

В партере Прохор демонстративно вытянул ноги поудобней устроился в кресле, делая вид, будто вот вот заснет.

На эстраду вышел маленький щуплый музыкант в фраке с длинными фалдами. Он сел, несколько раз передвинул с места на место стул и стал задумчиво тереть свои длинные тонкие пальцы. При этом он смотрел куда-то поверх рояля. Рыжие волосы его были зачесаны назад и обнажали высокий выпуклый лоб.

Пианист уронил подбородок на галстук, торчащий как крылья белой бабочки, и положил пальцы на клавиши.

Он играл Шопена: полонез, баллады, прелюдии. Прохор насмешливо косился в мою сторону. Кажется, он искренно начинал скучать. Я понимал, что летчик-истребитель не обязан понимать и любить фортепианную му-

зыку. Но вот зазвучали бравурные ноты мазурок. Был сыгран вальс, полонез. Пианист перешел к Листу. Тяжелые басы фюнералий падали в зал, как удары рока. Прохор больше не шурился пренебрежительно. Он подпер голову ладонью и, не отрываясь, глядел на пианиста. По мере того как тот играл, его рыжие волосы беспорядочно падали на лоб, на виски, огненными прядями закрывали большие прозрачные уши. Закинув голову, музыкант глядел куда-то поверх рояля, за черный бархат кулисы.

Когда кончилось первое отделение, я сказал:

— Пойдем?

Прохор только поглядел удивленно и ничего не ответил. Мы остались. Во втором отделении он был — само внимание.

— Чорт бы его побрал, — сказал он, выходя из зала, — ах, чорт бы его взял!

Как-то само собою вышло, что мы вместо ресторана вернулись на вокзал. Сидя в темном вагоне пригородного поезда, я спросил:

— А как же с отдыхом?

Он долго глядел на меня молча. Потом сказал:

— Если бы знать, что это так здорово, — сказал он серьезно, — я бы не стал спорить с полковником. Я по-настоящему отдохнул. Объясни мне, пожалуйста: откуда такая силища в маленьком щуплом человеке? Пальцы, как спички, а погляди — какая сила. Словно взял он меня, поднял и носил где-то там, чорт его знает где.

II

В жизни каждого из нас бывают темные дни. Таким темным днем для Прохора был тот, когда он, лишенный в бою своего самолета, оказался отрезанным

от нашего расположения. Он добрался с танкистами почти до самых наших линий. Они оставили его в леске и снова ушли в бой. Уверенный в том, что по ту сторону леска увидит своих, Прохор почти открыто вышел из него. Но первое, что предстало его взору, был немецкий патруль. Оставалось только как можно скорее нырнуть обратно в лес.

Вся ночь, без малого, ушла на то, чтобы с помощью окрестных крестьян отыскать старого знакомого: «человека в очках» — предводителя партизанского отряда. Тот готовился к серьезной операции. Нужно было, не поднимая лишнего шума, — так как силы партизан были ограничены, — изъять из немецкого штаба карты. Все было подготовлено к тому, чтобы под видом «делегации жителей» проникнуть в штаб. «Человек в очках» предложил Прохору принять участие в экспедиции. Прохор с радостью согласился. На него пала обязанность любыми средствами привлечь к себе внимание немецких офицеров, пока его спутники не оглядятся в доме. У «человека в очках» был большой опыт в такого рода делах. Все шло как по расписанию. Делегаты стояли перед немецким майором. Прохор, разыгрывая предателя, давал фантастические сведения о Красной Армии. Немец слушал его недоверчиво, но наконец не вытерпел и развернул карту.

— Алло, хэrr оберст, — крикнул он за перегородку, — комэн зи маль хир! Эс гибт этвас вихтигес, глаубэ их.

В дверях появился небольшой краснолицый полковник в очках. Он внимательно оглядел стоящих с шапками в руках «делегатов» и молча подошел к разложенной на столе карте:

— Нун, вас нох?

Прохор только что собирался рассказать что-нибудь

позавлекательней, как двое конвойных ввели маленького человека в изорванном, подпоясанном тонким ремешком, светлом макинтоше. Рядом с шубами офицеров и запорошенными снегом солдатскими шинелями этот макинтош производил впечатление наивного маскарада. Но, глянув на арестованного, Прохор понял, что о маскараде не может быть и речи: лицо пленника было серо-синим от холода, зубы скалились, как у загравленного зверька. На непокрытой голове ярко горела копна рыжих волос. Прохор не сразу понял, откуда знает этого человека. А поняв, вздрогнул: то был пианист, тот самый пианист.

Офицеры заговорили между собой. Прохор прислушался.

— Вот, господин полковник, тот самый еврей, которого вчера поймали около моста. Продолжает твердить, будто он музыкант и не имел никакого отношения к порче моста.

Полковник вскинул на пианиста тяжелый взгляд серых глаз.

— Похоже на правду, — сказал он медленно, — для такой работы нужна медвежья сила, а это какой-то... — Не договорив, он обратился к пленному: — Музыкант?

— Да.

— Сейчас проверим. Покажи, что ты можешь. — Полковник кивком указал на стоящую у стены старенькую фисгармонию. — Если ты действительно такой известный музыкант, как говоришь, мы тебя отпустим. Играй.

Пленный подошел было к фисгармонии, но, подняв руки, вдруг поглядел на свои синие, сведенные холодом тонкие пальцы и в бессилии уронил их.

— Зейне хенде зинд эрфронен, — сказал майор полковнику.

— Согрей руки, — коротко приказал полковник и снова кивком снизу вверх показал на лампу.

Музыкант подошел к лампе и стал греть руки. Тонкие кисти его светились насквозь. Казалось, видно, как течет в них кровь. Прохор глядел на эти руки, забыв, зачем он здесь, забыв начатый рассказ над развернутой картой.

Музыкант сел за инструмент. Жестом, так хорошо запомнившимся Прохору с первого концерта, потер руки и стал задумчиво глядеть на свои длинные, все еще багровые от холода, пальцы. Прохор увидел на их тонкой коже глубокие ссадины и кровоподтеки. ПИАНИСТ тоже, словно сейчас только заметив, что руки его изранены, бросил испуганный взгляд на немцев и поспешно склонился над инструментом.

Погребальное пение «Реквиема» заполнило горницу, рвалось сквозь дребезжащие окна в стужу, в темную тишину леса, подступившего к самой усадьбе.

Полковник неотрывно глядел на руки пианиста. Его брови все ближе сходились над золотым переносием очков. Поймав это движение бровей, майор крикнул музыканту:

— Стоп! Прекратить это славянское нытье!

Пианист испуганно оборвал музыку. Его руки, как подстреленные на лету птички, замерли на миг и упали с клавиатуры.

Полковник сердито взглянул на майора:

— Абэр, варум дох славиш?! Сьист эйн эхтер дочер компонист — Моцарт, мэйн херр.

— Ах, во! — виновато произнес майор, — вундербаар!

Полковник бросил пианисту:

— Играть! — и снова его внимательные серые глаза устремились на пальцы музыканта.

Немцы опять заговорили между собой.

— Такими руками ничего нельзя сделать, — сказал полковник. — Это всего лишь руки артиста.

— Да, — согласился майор.

— В Америке такие руки страхуют, — сказал полковник пианисту. — А у вас?

— У нас это излишне, — тихо сказал пианист. — А когда я ездил в Штаты, мои руки действительно были застрахованы.

— Во сколько? — с жадным интересом спросил майор.

— Двести тысяч долларов, — спокойно произнес музыкант.

Немцы удивленно переглянулись.

Майор вплотную подошел к пианисту. Прохору показалось, что кулак офицера сжимается для удара. Прохору стоило огромного усилия сдержать себя: хотелось броситься на офицера и... Но нельзя было поднимать шум без команды «человека в очках». Задание прежде всего!

— Значит, — твои пальцы сокровище! — с издевкой произнес офицер.

Пианист удивленно поглядел на свои руки, словно такая мысль впервые пришла ему. Он молча кивнул и обвел присутствующих смущенным взглядом.

Взгляд полковника под стеклами очков сделался снова прозрачным, ничего не выражающим. Он равнодушно повернул пианисту спину и склонился над картой.

Майор порывисто схватил пианиста за руки выше кистей и положил их на стол. В мертвой тишине горницы было слышно, как шлепнули ладони по дереву стола.

— Руих! Спокойно! — приказал майор и быстро, схватив лежавший на столе тяжелый пресс, с размаху ударил по пальцу пианиста.

Страшный, животный крик наполнил дом.

Зуд, подобный электрическому току, пронизал руку Прохора от кончиков пальцев до плеча. Ему показалось будто немец разможил палец ему самому. Ощущение боли было так реально, что он скрипнул зубами. Его взгляд встретился с глазами «человека в очках», устремленными куда-то в сторону. Мгновенно проследив направление, Прохор увидел: полковник доставал из сумки пачку размеченных карт. По жадному вниманию партизана Прохор понял: эти карты и есть цель на лета. Но прежде чем он успел вернуться взглядом своему предводителю, новый вопль наполнил дом. Прохор забыл все: наказания «человека в очках», задание, острожность. Доводы разума перестали существовать. Огромное тело Прохора метнулось в неудержимой прыжке. Все смешалось. Горница наполнилась криками, заглушенным сопением, шумами жестокой драки. Уда по лампе погрузил дом в темноту.

Несколькими часами позже в землянке, укрытой непроходимой чащей леса, Прохор ревниво следил за ловкими движениями сестры — партизанки, перевязывавшей разбитые пальцы пианиста. Прохор принес ее сюда на своих плечах и теперь относился к нему, как к ценному трофею.

Когда перевязка была закончена, в землянку вошел «человек в очках». Он сказал Прохору:

— Твое счастье — бумаги те самые.

— А то бы? — спросил Прохор.

— Не взыщи... — серьезно сказал партизан, — мы бы тебя расстреляли за нарушение приказа.

— Крепко у вас, — усмехнулся Прохор и нервно передернул плечами.

— На добровольных началах, — сказал партизан. — А теперь слушай, — и он по-новому, ласково улыбнулся близорукими глазами. — Тут неподалеку спрятан само-

ет. Берегли мы его, как зеницу ока, хотя летать у нас на нем и некому. Нынче же ночью осмотри его, чтобы рассвету... — партизан выразительно махнул рукой и свистнул. — Отвезешь эти документы.

— Дело! — радостно воскликнул Прохор. — Это настоящее дело! — Тут он поглядел на лежащего на куче сосновых веток пианиста и сказал: — Заберу его с собой.

— Да, здесь ему трудновато будет, — ласково сказал партизан и спросил у музыканта: — А кто же все-таки наворотил то, в чем немчура тебя заподозрела? — И тут же пояснил Прохору: — Видишь ли, кто-то немецкий мост так незаметно и серьезно повредил, что у фрицев несколько танков под лед ухнули. Вот они и стали искать виновника. Занятно, кто бы это?

Пианист поглядел куда-то поверх головы собеседника. Прохору вспомнился такой же взгляд его, устремленный над роялем, за бархатный занавес кулисы. Но теперь вместо черного бархата перед музыкантом была распахнутая дверь землянки, а за нею запущенный снегом дремучий лес. Пианист перевел взгляд на партизана, смущенно улыбнувшись, сказал:

— Я.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

I

Мы познакомились с ним в 1916 году. Уэллбридж приехал тогда в Россию в качестве сдатчика английских самолетов. Это был молодой, жизнерадостный парень, смотревший на происходящее с точки зрения спортсмена, попавшего на интересную охоту в Африку. Мы с ним сошлись. Быть может, пойми он хоть что-нибудь в том, что происходило у нас через год, нам не пришлось бы с ним расстаться почти врагами.

Нынче, пробираясь вместе с Прохором из Архангельска на Волгу, я снова встретил Уэллбриджа. Так же, как у меня, серебрились теперь его виски; так же, как у меня, за его плечами остались двадцать пять лет жизни, опыта, дум. Мне показалось, что он начинает разбираться в происходящем, добился понимания того, что совершается у нас в стране. Так мне казалось, и мои иллюзии исчезли довольно быстро. Однажды, сидя на диване паровой каюты, Уэллбридж глубокомысленно сказал:

— Не кажется ли вам, мой друг, что за четверть века, что мы не виделись, колесо истории совершило полный оборот и начало его сначала? Смотрите: я снова здесь, я снова сдаю вам самолеты; мы снова боремся против немцев рука об руку с русскими. Вы скажете

мне, что русские стали не те и что мы тоже немножко изменились, а?

Я молчал. Уэллбридж прищурившись смотрел на пробегающие берега Волги, на бесконечную череду деревень и сел, глядящихся с высоты лесистых обрывов в подернутые салом воды могучей реки. Когда умолкало шуршание шуги по обшивке парохода, было слышно, как шипит отсыревший табак в трубке Уэллбриджа. Он тщательно примял его пальцем.

Вдруг почерневшим от пепла пальцем он ткнул в окно на виднеющуюся деревеньку:

— Вот что вам, по-моему, осталось. Рабочие слишком нужны вашей промышленности, чтобы вы решились послать их всех в авиашколы. Скоро вам не из кого будет делать летчиков.

Я молчал. Уэллбридж был хороший малый, но я понимал, что он попрежнему не разбирается в жизни нашей страны.

Со звоном ударялись в борты парохода и торосились льдины. Шипел табак в трубке соседа...

Льдины преградили путь пароходу. Мы застряли в городе N. Глухой ночью взбирались мы в город по лестнице, в которой старожилы насчитывают девятьсот ступеней. Скользили, оступались. О носильщиках не могло быть и речи. Носильщики были на войне. Уэллбридж пыхтел под тяжестью своего желтого чемодана, но не ворчал. Только перешагнув девятисотую ступеньку, он сказал: -

— Остается, чтобы тут не оказалось отеля. Не принять ванны, не выспаться. Только этого недостает.

Отеля не было, не было ванны. Мы стояли посреди тонущей во мраке обледелой улицы.

Уэллбридж неожиданно рассмеялся. Ярko вспыхнул огонек его трубки.

— Как в старой сказке.

Мы зашагали по ледяной коре мостовой.

— Куда вы? — крикнул Уэллбридж.

Никто ему не ответил. Он поднял чемодан и нагнал нас.

— Куда вы, чорт побери?

Проход не приветливо ответил:

— За ванну не ручаюсь. Но мне кажется, что мы победим и без нее. Банька — это другое дело. Баньки мы в школе организуем. По-русски — с веником...

II

Мы сидели в кабинете начальника авиашколы. Школа была молодая, еще недавно она принадлежала Осоавиахиму и неспеша подготавливала местную молодежь к овладению воздушной стихией. Теперь в ней сотни учащихся. В нее стекаются молодые люди со всех концов округа. Ее здания расширены втрое, но и не хватает для обучаемых.

— ...школа не только готовит пилотов, — говорил начальник. — Мы тут же формируем из готовых летчиков боевые части.

Уэллбридж искоса поглядел на меня. Во взгляде сквозило плохо скрываемое недоверие.

— А вы не боитесь, что резервы для пополнения рядов ваших курсантов скоро иссякнут? — спросил англичанин.

— Вы серьезно говорите об исчерпании человеческих ресурсов? — улыбнулся полковник.

— Нельзя безнаказанно оголять промышленность, — наставительно заметил Уэллбридж, — а русские крестьяне — это, согласитесь, не материал для подготовки летчиков. Вчера — колхоз, сегодня — аэроплан?! — Он пригнул табак и хотел еще что-то сказать, но в кабинет во-

шел лейтенант с немного усталым лицом и белыми, словно выгоревшими на солнце волосами.

— Вы хотели познакомиться с нашими преподавателями, — сказал начальник школы Уэллбриджу. — Прощу, вот товарищ Вотинцев. Сейчас придут другие.

— Преподаватель? — Глядя на Вотинцева, Уэллбридж удивленно поднял брови: — Вы так молоды...

— Я воспитанник этой же школы, — несколько смущаясь, словно его молодость была провинностью, ответил Вотинцев.

— А ныне автор учебников по самолетам, — как бы невзначай отметил полковник.

— Вы... — Уэллбридж замялся, но, преодолев неловкость, все же спросил: — Вы из интеллигентной семьи?

— Я крестьянин, — ответил Вотинцев и, словно вдруг поднялось в нем все его крестьянское прошлое, повторил: — Удмурты мы, крестьяне.

Прежде чем Уэллбридж успел еще о чем-либо спросить Вотинцева, дверь отворилась, и вошли двое молодых людей.

— Преподаватели Турбин и Осипов, — снова представил начальник школы.

Уэллбридж порывисто поднялся с дивана и, внимательно глядя на вошедших, быстро пошел им навстречу, будто спешил отгородить их своей широкой спиной от начальника. А вслед ему звучал спокойный голос полковника:

— Тоже из питомцев нашей школы и тоже авторы учебников.

Как бы торопясь, чтобы ему не помешали, Уэллбридж схватил руку Осипова:

— Когда кончили школу?

— Пять лет назад.

— Какого происхождения?

— Крестьянин.

Уэллбридж не скрывая удивления, выпустил его руку и обернулся к Турбину.

— Вы хотели осмотреть школу, — сказал полковник, — машина ждет нас.

Через полчаса мы подъезжали к аэродрому... Над летным полем кружил истребитель. На старте был вложен крест, запрещающий посадку. У края аэродрома стояла небольшая группа людей, с нескрываемым воодушевлением следивших за истребителем.

— Что случилось? — спросил полковник.

— Одна нога шасси подломилась, — доложил начальник летной части.

Я видел: полковнику хотелось отвлечь внимание Уэллбриджа от предстоящей посадки, но тот упрям не давал увести себя к ангарам, которые неудержим старался показать ему полковник. Кончилось тем, что поврежденный самолет на глазах всех нас вышел на посадку. Летчик выровнял машину. Одинокое колесо коснулось площадки, взметая клубы смешанного с песком снега. Поддерживая машину элеронами от сваливания вправо и левой ногой не давая ей развернуться на пробеге, летчик спокойно вырулил на свое место. Самолет мягко черкнул крылом по снегу и замер, грустно накренившись. Была только слегка помята консоль.

Глянув на Уэллбриджа, я заметил, что улыбка тронула его энергичный рот.

— Мастерская посадка, — сказал он начальник школы, будучи не в состоянии скрыть восхищения, и тут же поспешил снизить впечатление своей похвалы: — Поверьте мне, — уверенно сказал он мне с усмешкой, — крестьянина вы никогда не научите так летать. Чувствуется рука, привыкшая к машине. Советую вам зубам держаться за таких инструкторов:

— Но... — полковник на секунду запнулся, — это не инструктор, а ученик.

Уэллбридж улыбаясь сказал мне по-английски:

— Мне не хочется обижать полковника, а то я сказал бы ему, что обман хорош тогда, когда он не замечен.

Тем временем из самолета спокойно вылез летчик и направился к нам. Это был крепкий безусый парень с пылающим от зимнего загара лицом. Он уверенно подошел к полковнику и, приложив руку к шлему, отпортовал:

— Товарищ полковник, курсант Воеводин из учебного полета прибыл.

Уэллбридж быстро обернулся к Воеводину. Первый раз в жизни я заметил в его взгляде растерянность.

Так же, как во время беседы в школе, Прохор стоял за спиной Уэллбриджа и сердито курил.

III

— Прошу в классы, — сказал полковник и вышел в длинный коридор.

Следом за ним широко шагал Уэллбридж. Его рыжие брови все еще были удивленно подняты.

— Встать смирно! — неслось нам навстречу по спальням, где в два яруса висели койки курсантов. Ряды коек уходили вдаль бесконечной вереницей. Койками были заполнены комнаты, залы, коридоры.

— Встать смирно-о-о! — гремело все дальше и дальше под старыми сводами дома.

Перед сложными чертежами самолетного оборудования, перед вращающейся машиной сверкающего сталью мотора, перед черной доской, заполненной формулами, стоят молодые люди. В руках преподавателя — тетрадь с конспектом вызванного к доске. На почерке печать еще не установившейся молодой руки. Но ответы курсанта уверенны и тверды. Вызывают другого. Он

неверно изображает силы, действующие на крыло самолета в штопоре.

— Кто соревнуется с Абдуллиным? — спрашивает преподаватель.

— Курсант Кузьмин, — докладывает быстро поднявшийся из-за дальнего стола юноша.

— В чем ошибка Абдуллина? — спокойно спрашивает преподаватель.

Кузьмин у доски. Он исправляет чертеж соревнующегося с ним товарища.

— Я хочу спросить, — неожиданно говорит Уэллбридж и всем телом поворачивается к Кузьмину: — Ваше происхождение?

— Крестьянин села Аксубаево, Татарской республики.

— Раз крестьянин, — внушительно говорит англичанин, — значит, непартийный человек?

— Я хоть и не член компартии, но комсомолец, — отчеканил Кузьмин.

— Вам... трудно учиться? — с запинкой спрашивает Уэллбридж.

Кузьмин с секунду удивленно глядит на англичанина, на меня, на товарищей и, как бы извиняясь, что вынужден огорчить гостя, говорит:

— Почему же? Я — круглый отличник.

Начальник учебной части — пожилой майор вставляет:

— Итоговая успеваемость прошлого выпуска: отлично — шестьдесят пять процентов, хорошо — тридцать пять процентов. В этом выпуске дело идет лучше.

Молча, словно удивленные друг другом, продолжают глядеть один на другого: большой, тяжелый Уэллбридж с внушительными пучками рыжих бровей над строгими глазами и коренастый, маленький курсант Кузьмин, с лицом, носящим следы оспы, с остриженной под машинку головой.

Англичанин, выходя из задумчивости, спрашивает:

— Школа и... на фронт?

— Безусловно, — твердо отвечает Кузьмин.

Полковник отворяет дверь класса, раздается команда:

— Встать смирно!

Уэллбридж выходит сосредоточенный. Его рыжие брови опустились на место.

IV

Когда на одной из станций Уэллбридж вышел из вагона, мой взгляд упал на открытую страницу его путевого блокнота:

«Быть может, и нельзя поверить всему этому, не увидев собственными глазами всего, что я видел. Но я видел и должен верить. Не смею не верить. Русский рабочий — замечательный летчик и командир. К этому мы привыкли, и в этом нет уже ничего удивительного. Но, чтобы поверить тому, что тысячи вчерашних колхозников стали отличниками авиационной школы и уходят на фронт готовыми пилотами, для этого нужно самому увидеть их склоненные над тетрадами стриженные головы, нужно своими глазами видеть в самолете мистера Кузьмина из деревни Аксубаево и его преподавателя мистера Вотинцева — крестьянина удмурта. Страна может дать миллионы пилотов. Это — правда. Несмотря ни на что, она готовит их тысячами. Я этому уже верю...»

Я оторвал взгляд от записи, заслышав твердые шаги Уэллбриджа. Он поспешно вошел с пустым чайником.

— На станции нет воды? — спросил я.

Он быстро глянул на свой раскрытый блокнот, сложил его и сунул в карман.

— Нет, я занял уже очередь, — сказал он, делая вид, будто вернулся вовсе не из-за своего блокнота.

Сидящий в своем углу Прохор проводил англичанина критическим взглядом и довольно мрачно пробормотал:

— Чему только их учат в этих колледжах. Не могут понять самых простых вещей. Не стерплю я, друже, и выложу ему свою точку зрения.

С тех пор прошло довольно много времени. Прохор снова уехал на фронт, а меня судьба опять занесла в один из приволжских городов. Войдя в ресторан гостиницы, я сразу узнал широкую спину Уэллбриджа. Он сидел за стаканом чая, от которого сильно пахло коньяком, и сосредоточенно дымил трубкой. Увидев меня, он радостно махнул мне:

— Идите сюда, Ник.

После нескольких приветственных фраз он полез в карман, и я увидел на столе знакомый уже мне черный дорожный блокнот. Уэллбридж быстро листал его.

— Как вам это понравится? — сказал он, останавливаясь на странице, которую я хорошо помнил: то была запись о летной школе. — Полюбуйтесь, — его трубка сердито зашипела, и моим глазам предстала размашистая приписка, сделанная по-русски в конце страницы: «Постарайтесь уверить всех англичан, что из нашего мужика выходит не плохой летчик. Вам же лучше будет». — Каково? — сердито спросил англичанин. — Я бы дорого дал, чтобы узнать, кто это написал.

Я мог только недоуменно пожать плечами и постарался перевести разговор на другой предмет, хотя готов был поклясться, что где-то видел уже почерк, которым была сделана эта приписка.

Вернувшись к себе в номер, я тотчас лег. Но стоило мне закрыть глаза, как передо мною тотчас встала та же надпись, сделанная уверенным, твердым почерком. Положительно он был мне знаком, — то была рука Прохора.

АДЪЮТАНТ

Его привыкли видеть погруженным в заботы самого обыденного свойства. Командирам штаба было не до забот о себе, о своих удобствах. Обо всех них вместе и о каждом в отдельности должен был заботиться адъютант. Молодой техник-интендант Рыбушкин вставал раньше всех, ложился последним. Десятки раз на дню, по всякой надобности, его вызывал каждый из командиров. Вероятно, большинство из них искренно считали: ни на что иное, как на устройство маленьких дел походного быта, Рыбушкин и не способен.

Однажды немецким танкам, упорно сопротивлявшимся наступлению Красной Армии, удалось вклиниться в наше расположение. Их сдерживали наряду с наземными войсками немцев яростные удары нашей штурмовой авиации. Но осторожность требовала некоторого перемещения нашей авиационной стоянки. Как всегда, перебазирование нашей части было спланировано так, чтобы не прерывать боевой работы. Подразделения вылетели со старых точек на боевое задание, а возвращались уже на новые площадки. Перемещение вспомогательных служб, личного состава происходило таким же образом: никакого перерыва в боевой работе. Но то ли кто из наших штабных допустил ошибку в плане переброски, то ли что-то помешало точному его выполнению, во всяком случае, когда Прохор заехал на аэродром, чтобы окинуть его последним взглядом, он

сразу заметил: из трубы блиндажа вьется дымок. Там грелся вооруженец, оставленный для наблюдения за отправкой бомб. Эти бомбы заберет тяжелый самолет транспортной эскадрильи, который прибудет сюда с рассветом. Вооруженец грелся в блиндаже на перемену с бойцом-часовым.

По мере того как Прохор слушал доклад вооруженца, глаза его суживались и лицо принимало оттенок который все мы хорошо знали: в это время лучше не попадаться на глаза командиру. В основательности его гнева никто не сомневался: на новых площадках каждый вооруженец — на вес золота. Оставление его здесь было ошибкой.

— Сойдите! — коротко приказал Прохор Рыбушкину. Тот проворно выскочил из командирского автомобиля, еще не понимая, к чему это клонится. — А вы садитесь сюда, — сказал Прохор вооруженцу и снова обернулся к адъютанту: — Останетесь здесь. Проследите за погрузкой боеприпасов.

— Есть, — сказал Рыбушкин, но, когда Прохор уже готов был захлопнуть дверцу автомобиля, Рыбушкин вдруг обеспокоенно сказал: — Вот здесь консервы к завтраку, тут печенье, — он показывал свертки в ногах, — там масло...

— Ладно, ладно, — прервал его Прохор. — Прибудете и сами разберетесь. Есть у меня время думать о завтраке.

«Зис» скрипнул баллонами по свежему снегу и исчез за леском.

Рыбушкин вошел в гущу леса, где лежали боеприпасы, и, сменив бойца, отправил его греться.

Тяжелые лапы заснеженных елей висели над ящиками с бомбами, заботливо прикрывая их от глаз немецких разведчиков. Было светло, как днем. Полный месяц заливал аэродром ярким сиянием. Отчетливо вид

нелись полосы, накатанные самолетами на взлетах и посадках. В тишине замершего в безветрии леса слышались таинственные шорохи, то и дело выводившие Рыбушкина из задумчивости. Он ежился от холода, заползавшего под кожанку, и стучал ногой о ногу. Узкие адъютантские сапоги не были приспособлены к морозу, как и франтовская пилотка. То и дело приходилось хвататься за уши и тереть их, тереть...

Как лучшему другу, радовался он бойцу, когда тот появлялся со стороны блиндажа, чтобы сменить Рыбушкина у бомб. Рыбушкину казалось, что перерывы между такими появлениями делаются все длинней и длинней, хотя боец был точен, как астроном.

Сползая непослушными ногами в теплый сруб блиндажа, Рыбушкин первым делом взглядывал на часы: далеко ли до рассвета. Ведь только через полчаса после восхода солнца должен прийти самолет за бомбами. По мере того как отходили ноги, уши, руки, оттаивали и мысли Рыбушкина. Привычные заботы возвращались в адъютантскую голову: примерно в половине восьмого придет самолет, в восемь вылетят. Раньше девяти не попасть в штаб. А в девять завтрак уже должен быть на столе. Кто приготовит его командирам?..

Знакомый гул прервал мысли Рыбушкина. Он выскочил из блиндажа и прислушался. Гул шел понизу. Это не были самолеты. Рыбушкин вслушивался с удивлением, пока его вдруг не озарило воспоминание: он слышал разговор Прохора с начальником штаба о том, что перебазирование вызвано угрозой окружения со стороны прорвавшихся немецких танков. Прохор не хотел рисковать самолетами, если танки неожиданно появятся ночью...

Рыбушкин почувствовал, как нервный холодок пробежал по спине: вот они, немецкие танки.

Он быстро обернулся к бойцу.

— Бомбы в кучу! — в голосе его появилась твердость, от которой боец вытянулся и приложил руку к козырьку.

— Есть бомбы в кучу. — И бросился исполнять приказание.

Рыбушкин помогал. Временами он прекращал работу чтобы прислушаться. Танки приближались. Скоро стал слышен скрежет гусениц. У Рыбушкина больше не было сомнений. Он приказал бойцу:

— Немедленно отправляйтесь, доложите полковнику что ввиду подхода танков противника боеприпасы мною уничтожены. Все.

Боец повторил приказание, но стоял в нерешительности.

— Разрешите обождать вас, товарищ интендант.

— Исполняйте приказание! — решительно сказал Рыбушкин. В голосе его снова прозвучала непреклонность заставившая бойца бросить короткое «есть» и, круто повернувшись, побежать к лесу.

Рыбушкин остался один у груды бомб. Тут были бомбы разных калибров и свойств. Рыбушкин оглядел их и, выбрав ту, у которой упаковка была повреждена больше других, принялся отдирать планки. Скоро бомба лежала на снегу — черная и холодная, как тело больной замороженной рыбы. Рыбушкин прислушался: лязг танков слышался уже на дороге, ведущей из леса к аэродрому. Рыбушкин торопливо снарядил распакетованную бомбу и стал заворачивать взрыватель. Когда по его расчетам, для приведения в действие удара, оставалось сделать два-три оборота, Рыбушкин вздрогнул. Хотя он и знал, что танки уже в лесу; знал, что с минуты на минуту они должны быть на аэродроме, появление головной машины оказалось для него неожиданным. Темный силуэт танка выкатился из-за де-

ревьев и замер. Рука Рыбушкина потянулась было ко взрывателю, но он отвел ее. Нос танка был направлен прямо на то место, где под покровом деревьев были сложены бомбы. Если танк продвинется еще на несколько десятков метров, а за ним и другие, то все они будут уничтожены взрывом бомб...

Люк головной машины откинулся. В нем появилась голова. Рыбушкин подавил желание выстрелить в немца из пистолета. Это показалось ему мелким и ненужным по сравнению с тем, что он сделает через минуту. Всего минуту терпения! Рыбушкин положил руку на ключ. Стиснул зубы: головная машина двинулась на него. За нею показался из леса второй танк. Но, пройдя всего несколько метров, машины остановились. Потом головной танк лязгнул гусеницами и сделал резкое движение, разворачиваясь на месте. Рыбушкин понял: добыча уходит. Рука сама сделала поворот ключа. Но танк снова остановился. Наступила минута тишины. И на эту тишину ясно лег голос человека, стоявшего в башне танка:

— Товарищ Сидоркин, гляньте-ка по карте, куда дальше ведет дорога?

Только тут Рыбушкин почувствовал, как дрожат его пальцы, лежащие на холодном металле ключа. Понадобилось большое усилие, чтобы остановить движение руки, продолжавшей машинально поворачивать ключ.

Вглядевшись в танки, Рыбушкин увидел покатые стальные лбы советских машин.

В танке происходил разговор, слов которого Рыбушкин не мог разобрать. Потом тот же голос, что и прежде, уверенно сказал:

— Как раз к рассвету и ударим.

Рыбушкин обеспокоенно глянул на часы: половина седьмого. «Неужто опоздаю приготовить завтрак?» — мелькнуло в голове адъютанта.

ПЯТЬДЕСЯТ БЕСКОНЕЧНОСТЕЙ

Прохор — любитель старых песен. Вечером, когда затихает деревня, проходящий мимо избы, где расположен наш штаб, может частенько слышать могучий бас Прохора и под сурдинку вторящий ему хор:

Ревела буря, гром гремел...

Входящие в горницу к вечернему чаю командиры тихо присаживались на лавках вдоль стен, вступали в хор.

Это пение служило нам отдыхом от тяжелых дней на морозе, на пронизываемых студеными ветрами аэродромах. Хотя мы с Прохором не так уж давно были переведены в эту штурмовую часть, все уже знали тут что оторвать нас от песни может только служебное дело. Подперев кулаками тяжелую голову, Прохор пел сосредоточенно и серьезно.

Но сегодня нам не удалось допеть «Ермака». Танкам противника, пытающимся задержать стремительное наступление Красной Армии, удалось вклиниться в наше расположение. Они двигались как раз туда, где был расположен наш аэродромный узел.

К тому моменту, когда Прохор дочитывал сообщение, начальник штаба уже развернул на столе карту

Было ясно: до наступления тёмноты мы едва ли успеем перегнать самолеты на новое место. Я ждал, что сейчас последует приказание Прохора: «Немедленно все в воздух!» Но он сидел над картой задумавшись. Начальник штаба с нетерпением следил за каждым движением его лица. Наконец Прохор сказал:

— С рассветом вылет.

— К тому времени немецкие танки могут оказаться у нас в тылу,— заметил начштаба.

— Исполняйте,— коротко ответил Прохор и тут же отдал ряд приказаний, обеспечивающих аэродром от неожиданного появления немецких танков.

Все вплоть до поваров были вооружены гранатами и ампулами с горючей жидкостью. По сторонам обеих дорог, ведущих к аэродрому, были поставлены самолеты. Их пушки были направлены таким образом, что проходы в лесу оказались под перекрестным огнем.

Часа через два мы снова собрались в штабе. Прохор и комиссар делали вид, будто ничего не произошло; садясь за стол к ужину, они сбросили кожанки, и я увидел у них на поясах целую гирлянду гранат. Они оба были готовы к рукопашному бою с немецкими танками.

Ужин был окончен. Прохор лежал на койке, протянув свои огромные ноги на спинку, и, словно ничего не случилось, тихонько тянул:

Заутра глас раздастся мой...

Сидя у него в ногах, комиссар тихонько подтягивал. Мы молчали.

Ближе к полуночи Прохор неожиданно вскочил с койки.

— На аэродром, товарищи!

В тишине избы было слышно, как стучаются друг о друга металлическими корпусами пристегиваемые грана-

ты. Кто-то рассыпал по столу пистолетные патроны и, бранясь себе под нос, ловил их по клеенке.

Мы шли деревенской улицей, потом полем, на котором в свете яркого месяца были видны бегающие под ударами ветра снежные закрутки. Вошли в лес. Снег особенно звонко скрипел на убитой людьми и машинами дороге. Проваливаясь по пояс в сугробах, мы обошли самолеты. Они стояли у опушки, уже лишенные масок, готовые к вылету с первым светом. Летчики, механики, вооруженцы, казавшиеся в полутьме чудовищно большими и страшными от своих неуклюжих комбинезонов, не отходили от машин. Под крыльями на снегу чернели кучки ручных гранат и выставленные на треногах пулеметы.

Закончив обход, мы собрались в блиндаже командного пункта. Скоро к нам присоединились командиры и комиссар штурмового полка. Командир-штурмовик, высокий плечистый майор Кравец — любимец Прохора был сегодня мрачен. Он молча опустил на лавку против комелька и сосредоточенно уставился на огонь.

— Что замрачнел, майор? — спросил Прохор.

— Все думаю.

— О чем же тебе думать?

— Правильно ли мы с вами поступили, не улети на новые точки?

— Мы поступили? — Прохор удивленно поднял брови. — А разве тебе было дано право выбирать, как поступать? Приказ оставаться здесь был дан мною, и размышлять о том, окажусь я прав или виноват, нужно мне, а не тебе. Верно, комиссар?

— Верно, — сказал комиссар и обернулся к спускавшемуся в блиндаж командиру истребителей — маленькому, коренастому майору Ключеву: — Споем, майор?

Ключев похлопал рукой об руку, подул на них и подсел к печке. Это был наш лучший тенор.

— Что будем петь?— спросил он, весело блестя живыми глазами.

Вместо ответа Прохор затянул басом:

Ревела буря, гром гремел,
Во мраке молния блистала.

К нему первым присоединился баритон Коваля. Следующая строфа шла уже с участием Клюева. Его чистый и звонкий голос лился легко и свободно:

Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой...

Время от времени начальник штаба поднимал руку. Это означало, что ему необходимо молчание. В углу блиндажа пищал зуммер телефона.

Начальник штаба опускал руку, и пение продолжалось.

И тут, как всегда, покрывая всех остальных, поднимался к потолку, распирая стены и заставляя дрожать стекла в оконце блиндажа, бас Прохора:

...С рассветом глас раздастся мой,
На подвиг и на смерть зовущий...

Начальник штаба невольно поглядел на часы: до рассвета оставалось около часа. И как бы уловив его беспокойство, пискнул телефон. Мгновенно все смолкло. Десять пар внимательных глаз уставились на начальника штаба, снявшего трубку.

Положив трубку, он доложил Прохору:

— Противник обходит наш узел.

— Время? — коротко бросил Прохор.

— Пять пятьдесят, — ответил начальник штаба.

Комиссар прикинул по карте:

— Если ничто их не задержит, они будут здесь через час.

— Они здесь не будут ни через час, ни раньше, ни позже,— спокойно сказал Прохор и встал. Держа перед собою шлем, он в раздумьи, как бы про себя, напевал:

...Тот должен думать лишь о ней,
За Русь святую погибая..

Вдруг он сказал начальнику штаба:

— Штурмовики взлетают через двадцать минут. За пять минут полета они будут над совхозом, где, вероятно, к этому времени окажется и голова противника.

— Взлетать придется почти в темноте,— нерешительно доложил начштаба.

— Да, почти,— сказал Прохор.

— С задания штурмовики возвращаются на новые площадки? — спросил начштаба.

— Нет,— сказал Прохор.— они возвращаются сюда.

Он неспеша поднимался по лестнице, напевая себе под нос.

Когда он был уже на последней ступеньке, раздался звонкий голос командира истребителей Ключева:

— Товарищ майор, разрешите мне прикрывать «Ильюш»?

Прохор приостановился.

— Нынче они пойдут без прикрытия. Ваша задача: через пять минут после «Ильюш» вылететь. Итти на ту же цель — танковую колонну противника. Штурмовкой добить то, что останется после «Ильюш».

Он говорил это так уверенно, будто видел уже на снежных полях остатки вражеской колонны, уничтоженной Ковалем.

Начальник штаба нагнал Прохора уже на аэродроме.

— Разрешите все же дать указание: в случае чего садиться на новую площадку.

Прохор сердито посмотрел на него.

— Я же сказал: мы вернемся на этот аэродром, и никакие танки ему угрожать больше не будут. Красная Армия наступает.

Через пятнадцать минут Прохор был в воздухе, ведя на штурмовку головную девятку «Ильюш».

Колонна вражеских танков, сопровождаемая вереницей машин с пехотой, двигалась лесною дорогой. Прохор сразу нашел противника и вывел на него свою девятку. Немцы открыли обычный для них ураганный огонь. «Ильи» шли над сплошным морем мигающих вспышек зенитных пулеметов и автоматических пушек. Но ничто не могло предотвратить третьей и четвертой атаки Прохора. Его штурмовики проносились над самыми вражескими машинами, обдавая их огненным душем своих мощных батарей. Под ударами пушек смолкали башни. Бомбы и снаряды рвали гусеницы, переворачивали танки, поднимали в воздух и швыряли на деревья грузовики с пехотой. Люди повисали на сучьях, добываемые густыми очередями штурмовиков. Так били «Ильи» на протяжении двенадцати-пятнадцати километров дороги, занятой немецкой колонной.

На четвертом заходе Прохор понял, что у него повреждено хвостовое оперение. Повидимому, руль направления был заклинен. Прежде чем Прохор сумел проанализировать происшедшее, волна горячего масла хлынула на козырек. «Попадание в мотор», — отметило сознание. Через две-три секунды сквозь козырек уже ничего не было видно. Новый удар немецкого снаряда разнес борт кабины. Прохор почувствовал крепкий толчок в плечо, и тепло пошло по левой руке в перчатку. Почти одновременно показалось пламя на крыле и внутри кабины. Прохор глянул на приборы. Большинство стекол на доске было разбито. Стрелочка масляного манометра, нервно вздрагивая, бежала влево. Масло

катастрофически быстро уходило. Через несколько минут мотор будет сухим. Но пока остается хотя бы один патрон в пулеметах и снаряд в пушке, Прохор не бросит немцев! Он всадит в них весь запас металла и взрывчатых веществ, чего бы это ему ни стоило! «Илья» снова подходил к голове колонны. Мотор ревел, вырабатывая последние капли масла. Прохор заставлял себя думать только о предстоящей последней атаке, хотя пламя охватывало уже почти всю кабину. У Прохора тлели брови, меховая опушка шлема. Он чувствовал нестерпимый жар на губах. Удушливый дым разъедал нос и горло...

Но вот замолчали пулеметы «Ильи». Боекомплект израсходован. Только теперь Прохор подумал о том, что нужно потушить пламя. Огонь снаружи он быстро сбил форсажем, но что можно было сделать с пламенем, бушевавшим внутри кабины? Жар становился нестерпимым. Одною рукою Прохор закрыл лицо, думая только о том, чтобы вытянуть теперь к своим. Но в тот самый момент, когда он уже отвернул от разгромленной вражеской колонны, в поле его зрения попало серебряное облачко, вьющееся над второю дорогой: с лесной просеки на нее втягивались немецкие грузовики с танками. Неужели немцам удалось скрытно выйти на другую дорогу в наш тыл?! Если так?! Прохору не хотелось даже думать о том, что будет, если эта клешня вражеского охвата останется неразгромленной. Он не колеблясь снова развернул машину. Через несколько секунд «Илья» на бреющем подходил к новой колонне. Сближение измерялось долями секунды. Прежде чем кто-либо на земле мог понять, что происходит, штурмовик снизился настолько, что его бронированное брюхо прошло по нескольким грузовикам, давя и ломая все, с чем приходило в соприкосновение. Корпуса автомобилей, чехлы над ними, плотно сидящие в грузовиках пе-

хотинцы — все превратилось в страшное месиво, трещащее, звенящее, воющее животным воем страха и боли.

Вслед «Илье», уносившему на плоскостях, на фюзеляже, на радиаторе куски дерева, обрывки металла и клочья зеленого шинельного сукна, неслись сотни снарядов автоматических пушек. По тому, как вздрагивал фюзеляж его искалеченной машины, Прохор мог судить о попаданиях неприятельских артиллеристов. Но попадания в плоскости, в фюзеляж и тем более в бронированное брюхо «Ильи» не беспокоили летчика. Все мысли Прохора были теперь сосредоточены на одном: как бы дотянуть до своего аэродрома. Сквозь багровый жар заполняющего кабину пламени, сквозь охватывавшую сознание тяжелую муть обморока Прохор видел, заставлял себя видеть одно: сесть, сесть во что бы то ни стало на свой аэродром. На охвативший голову звон отчетливо ложилось болезненное биение мотора. Прохор знал, что это звуки приближающейся агонии машины. Она выпила все масло. Всухую она могла проработать еще какие-то доли минуты. Взгляд Прохора был прикован к секундной стрелке часов. Жало стрелки короткими рывками отсчитывало секунды. По расчету Прохора через минуту должен показаться свой аэродром. Не дотянуть до него — значило не послать истребителей на уничтожение второй немецкой колонны, значило поставить под угрозу охвата свои войска и в том числе собственный аэродром.

Хотя стрелка перескакивала сразу от секунды к секунде, Прохору казалось, будто он видит, как медленно переползает ее ехидное тонкое жало от деления к делению. Это переползание было издевательски медленным. Время, нужное стрелке, чтобы пройти от черточки к черточке, представлялось Прохору бесконечностью, которая никогда не будет пройдена. Но как только

острие стрелки перекрывало деление, Прохор понимал, что эта бесконечность была лишь ничтожной долей того, что он должен выдержать.

Стрелка прошла у него перед глазами через пятьдесят делений. Пятьдесят бесконечностей, ставших реальными, как сама жизнь, от нестерпимого жара пламени, от боли в плече, от завлакивавшего сознание тумана, который с таким трудом удавалось отгонять напряжением воли.

Но вот наконец знакомые контуры площадки. Едва не цепляя шасси за макушки заснеженного леса, Прохор посадил своего «Илью» на брюхо в снег. Не было ни времени, ни сил выпустить шасси. Единственная мысль терзала остатки сознания: «Бросить товарищей в атаку на немцев».

Но никаких приказаний от Прохора никто уже не услышал. Его вынули из машины без сознания, в обгоревшем комбинезоне и шлеме, с обожженным лицом, с плечом, разорванным осколком снаряда. Впрочем, его приказания уже и не были нужны. Как он приказал, вылетая, через пять минут после штурмовиков в воздух поднялись истребители Ключева. Сегодня они тоже штурмовали. Но на их долю уже не досталось ничего от колонны, начисто разгромленной штурмовиками Прохора. Не желая возвращаться домой с неизрасходованными боеприпасами, ключевцы сами отыскиали себе цель. Этой целью и была вторая колонна, открытая Прохором.

Через два часа в штаб пришла благодарность командования: прорвавшиеся вражеские танки были уничтожены. Попытка противника остановить стремительный натиск наших войск была снова сорвана нашей штурмовкой.

Едва ли кто-либо иной на месте Прохора, с меньшим запасом жизненных сил и здоровья, мог бы в тот

же вечер, как ни в чем не бывало, глядеть в амбаре кинокартину, привезенную фронтовой передвижкой.

После ужина, съеденного с обычным для Прохора аппетитом, когда врач переменял ему примочки на обожженном лице, Прохор с наслаждением растянулся на койке.

— Что я вам говорил, — сказал он начальнику штаба, — новые площадки нам не понадобились.

— Да, да, — сказал начштаба. — Вы снова оказались правы.

— Дорогой друг, — серьезно произнес Прохор, — вам, как штабному работнику, нужно твердо усвоить самому и внушить другим: ни одна лядь земли, отбитой нами обратно у этой падали, не может снова попасть ей в руки. Понятно?.. А в наказание за вашу попытку перебазировааться спойте нам.

Начальник штаба послушно снял со стены гитару. Сначала нерешительно, потом смелей и смелей зазвучала песня, только что слышанная в кинофильме.

— Эх, братцы ленинградцы, — мечтательно произнес Прохор, — что может быть лучше старой русской песни... — И его бас загремел, как всегда покрывая голоса подпевающих командиров:

Завтра глас раздастся мой,
На подвиг и на смерть зовущий..

ЧУДЕСНАЯ СКРИПКА

Прежде чем рассказать о том, что произошло в нашем последнем рейде по немецким тылам, я должен раскрыть вам страницу из прошлого Прохора, имеющую непосредственное отношение к случившемуся.

Те, кто знал Прохора до войны, помнят историю его женитьбы. В этом событии существенную роль сыграла скрипка — самая обыкновенная скрипка. Она принадлежала соседке Прохора по комнате, отведенной ему при переводе в один из авиагарнизонов Западной Украины. Я не без удивления отметил проявленный моим другом интерес к скрипичной музыке, до которой он прежде не был большим охотником. Впрочем, довольно быстро мне стало ясно: предметом нового увлечения Прохора были не столько мелодии, выходившие из-под смычка соседки, сколько сама соседка. Скоро Стефа стала женой нашего героя. Увы, счастье их было непродолжительным. Всем известны обстоятельства коварного нападения, совершенного гитлеровцами на нашу западную границу. Пограничный город, где мы жили, оказался под первыми ударами вражеской авиации. Чтобы спасти материальную часть от предательских налетов немцев, нам было приказано немедленно перебазироваться. Первый день войны стал последним днем, когда мы видели наши семьи. С тех пор мы неотлучно находились на фронте. Наша часть, как вы знаете, дралась

не плохо. Прохор успел снова пройти все ступени служебной лестницы до командира части, когда вдруг был ранен. После выхода из госпиталя стало ясно, что летать он уже не сможет: зрение на один глаз было утрачено. Прохору предлагали ряд должностей в штабе, но он ото всего отказывался. Его не привлекал тыл. Он добился назначения в новый для того времени вид войск — в воздушно-десантную часть.

С тех пор мы с ним не раз побывали в германском тылу. Всякий раз, уходя на десантную операцию, Прохор надеялся узнать что-нибудь про оставшуюся на немецкой стороне Стефу. Но каждый раз, вернувшись из окружения, он с грустью говорил мне:

— Ничего.

Не в его манере было жаловаться. Единственное, что он позволял себе иногда, — если доводилось где-нибудь встретиться с музыкантами, — попросить их сыграть любимые мотивы Стефы. Мы делали вид, будто не знаем, почему именно эти, а не какие-либо иные вещи заказывает Прохор. Мы всегда со вниманием слушали их, хотя уже знали все наизусть. Больше того: мы могли заранее указать даже порядок, в котором он попросит играть ее любимые вещи: «Танец ведьм» Паганини — Крейсlera; затем крейслеровский же «Тамбурин» и третьим номером — скрипичный концерт Мендельсона. Эти мелодии на всю жизнь остались у меня в памяти...

Как сейчас помню, это было в начале декабря. Сидя в занесенной снегом до самой крыши штабной избе, мы коротали вечер, шаря в эфире. Англия слала нам, как всегда, бодрые созвучия джазбанда. Словно издеваясь над самим собою, Париж — город неизбывного траура Франции — посылал в эфир старые песни своих шансонье. Мы знали, что это пластинки. Наверно, те из певцов, кто чудом остался жить, поют свои очарова-

тельные песенки товарищам по концлагерям (если только у них есть еще силы петь). Тем страшнее были эти беспечные песни веселых мертвецов.

То были голоса мира, тщетно делавшего еще вид, будто ничего с ним не произошло, ничто в нем не изменилось. Но стоило на миллиметр передвинуть ручку — в молчание избы врывалась наглая медь трескучих немецких маршей и хриплый лай геббельсовских ораторов. Потоки хвастливой лжи лились в уши слушателей, вызывая возмущенные возгласы:

— К чорту!.. довольно!.. заткните глотку этой падали!

Я двинул верньер. На смену лаю опять пришли шансонье, джазы и спокойные проповеди английских пасторов.

— Надоело,— сказал Прохор. — Дай что-нибудь наше. — И, когда в репродукторе послышалась родная речь, радостно крикнул: — Так держать!

Диктор говорил по-украински:

— Мы передавали неаполитаньски писни в виконувании тенора... — следовало никому не известное имя певца. Диктор на секунду умолк и вдруг на чистейшем немецком языке произнес:

— Йецт херен зи эйн музикалишес штюк... Слушайте музыкальни номер: цыганьски танцы Брамса, Выконаэ Стефания...

Прежде чем я разобрал фамилию скрипачки, железные пальцы Прохора впились мне в руку. Лишь спустя мгновение, когда раздались уже звуки скрипки, до моего сознания дошло, что диктор назвал фамилию Стефы. Сомнения не было: у микрофона стояла жена Прохора. В том, что передача велась немцами из города, занятого противником, тоже нельзя было сомневаться. Прохор стоял над приемником со сжатыми кулаками. Еще мгновение, и он обрушил бы на хрупкое сооружение

страшный удар своего тяжелого кулака. Я поспешил перевести рычаг.

Ночью, лежа рядом с Прохором, я долго слышал его беспокойное сопенье.

— Не спится? — спросил я.

— Продаться немцам! — тихо сказал он. — Ты понимаешь, что это значит? Стефа продана немцам. Моя Стефа!..

Наутро его вызвали в штаб для получения задания. День ушел на подготовку операции, а ночью мы были уже в немецком тылу и устанавливали связь с начальником партизанского отряда, известного под кличкой «человека в очках». Вместе с партизанами мы должны были разгромить крупный немецкий штаб в близлежащем городе. Я сразу вспомнил, что именно из этого города шла вчерашняя радиопередача с участием Стефы, но нарочно не говорил об этом Прохору.

В землянке партизан, надежно укрытой чащею непроходимого леса, был установлен походный радиоприемник. Но пользоваться им разрешалось только самому «человеку в очках», так как партизаны очень берегли энергию батарей. Однажды днем, когда мы укрывались в этой землянке от немцев, «человек в очках» стал прощупывать эфир.

— Дай Москву, — проворчал из своего угла Прохор.

Но партизан пропустил его просьбу мимо ушей и продолжал вертеть верньер. Разноголосые зовы эфира отчетливо ложились на шум обступивших землянку деревьев — однообразный и внушительный, как морской прибой.

— Дай Москву, — повторил Прохор.

Но партизан даже не обернулся: склонив свое худое, обросшее редкой бородкой лицо к репродуктору, он внимательно прислушивался. Вот глаза его, под стеклами стареньких железных очков, стали строго-внимательны-

ми, клокастые брови сошлись. Все лицо выражало крайнее напряжение.

Я услышал в репродукторе звуки скрипки. Больше того: я различил мотив одной из любимейших вещей Стефы. Услышал его и Прохор. Он порывисто поднялся и, по-медвежьи ступая растоптанными валенками, подошел к партизану.

— Закрой! — проговорил он отрывисто. Голос его хрипел, что бывало только в минуты величайшего гнева или волнения. Видя, что «человек в очках» не обращает на него внимания, Прохор потянулся к приемнику.

Не оборачиваясь, партизан повелительно бросил:

— Не мешать!

Я услышал в его голосе такую непререкаемость, что сразу понял многое из слышанного об его железной воле и подвигах, плохо вязавшихся с мирной внешностью агронома. Прохор круто повернулся и забился в свой угол. С последними звуками скрипки партизан выключил приемник.

— Ну, медведь, — ласково сказал он, подходя к Прохору, — чего озлился? Люблю скрипку, а ты мешаешь...

Прохор показал на свою постель из сосновых ветвей и сказал:

— Садись! — теперь голос его звучал так же повелительно, как минуту назад голос партизана. — Выслушай и рассуди.

Прохор старался говорить тихо, но, лежа рядом, я слышал: он рассказывал историю Стефы, историю любви к женщине, продавшей немцам свой смычок. Закончив, спросил:

— Откуда была сейчас передача?

Партизан назвал город, в котором предстояло провести нашу операцию. Прохор привстал от волнения.

— Ошибки быть не может?

— Мне ошибаться нельзя, — усмехнулся партизан.

Прохор задумался. Я видел, что думы его не легки. Потом он поднял на партизана тяжелый взгляд и сказал:

— Прошу тебя, начальник, собери суд из своего народа. Будем судить ее.

— Кого? — удивленно спросил партизан.

— Стефанию.

— Чего ты хочешь?

— Приговора.

— Вон что задумал. — Партизан покачал головой. — Может статься, не так уж спешно? Чего народ волновать перед операцией? Этой ночью большое дело предстоит.

— Потому и хочу слышать приговор. Хочу знать его сейчас. Этой ночью мы будем в городе. Там найдем ее...

— Подумай хорошенько. Небось не о чужом человеке речь идет. Может, ошибка тут? — ласково проговорил «человек в очках».

Прохор стоял на своем. Когда в землянке собрался суд, он выступил в роли обвинителя и потребовал для Стефы сурового приговора.

— Не может быть пощады тому, кто продался врагу. Кто бы ни был: боец ли, командир, колхозник, конторщик или музыкант — до последнего дыхания служи народу, служи Родине. Ни за что, ни за какие посулы, хотя бы это стоило тебе жизни и величайших мучений перед смертью, не смей поганить имя советского гражданина, продаваясь врагу. Так я думаю, товарищи, — закончил он свою обвинительную речь.

— Что ж, — сказал председатель — бородатый ласковый партизан, — дело ясное. Обсудим?

Совещание было недолгим. Приговор ясен: смерть. Прохор выслушал его, снявши шапку.

— Приведение в исполнение прошу поручить мне, — сказал Прохор.

И я снова услышал в его голосе то же характерное хрипение. Наступило молчание. Судьи переглянулись. На тишину ясно лег голос «человека в очках»:

— Ты не сможешь выполнить приговор.

Прохор вскинул голову:

— У меня хватит сил.

— Верю, — спокойно произнес партизан. — Но тебе не доведется быть в городе.

— А нынче ночью? — спросил Прохор. — Я буду с тобой.

— Нет. — Партизан подумал несколько мгновений и твердо повторил: — Не будешь.

Прохор стоял в недоумении... Я видел, как ходят желваки на его щеках, и ждал, что вот-вот разразится буря неудержимого гнева. Но прежде чем он собрался что-либо произнести, «человек в очках» сказал:

— На регулярный счет ты, может статься, уже и не летчик, но среди нас ты единственный человек, способный вести самолет. Поэтому приказываю: сегодня ночью изготовить к полету машину, которую тебе укажут наши люди. Быть готовым с первым светом итти в воздух.

— Пойми же, я имею право быть ночью в городе и... — Прохор поднял туго сжатый, так что побелели костяшки, кулак.

— Это я беру на себя, — сказал партизан.

Прохор стоял, опустив голову. Впервые в его жизни я видел, что этот человек силится удержать слезы. Он сделал вид, будто закрыл глаза в задумчивости.

— Говори, какое задание будет в полете?

— Задание простое: принять на борт и доставить в советское расположение того, кому я поручу доставить оперативные документы немецкого штаба.

— Надежный тварищ? — спросил Прохор.

Но в голосе его я не уловил обычной горячей заинтересованности. Он говорил для того, чтобы не молчать.

— Будь покоен, — ответил партизан. — Если этот товарищ ошибся на одну секунду, и ему и нам в сегодняшнем деле верная крышка. — Партизан внимательно поглядел на Прохора. — Ты должен дать мне слово: ты доставишь его в целости и сохранности.

К ночи мы расстались с нашими хозяевами партизанами. Они отправились в город, а мы принялись тщательно готовить к полету спрятанный в лесу «У-2». К середине ночи мотор был опробован. От воздушной струи, бросаемой винтом, срывался снег с ветвей обступивших нас сосен. Стрекотание мотора смешивалось с могучим шумом леса.

До рассвета оставалось с полчаса. Прохор забрался на пилотское место. Я запустил мотор. Он крутился на малом газе. Было отчетливо слышно мелодичное позванивание клапанов. Где-то над лесом появилась серая полоска зари. На опушке показались силуэты нескольких партизан. Они пробирались к самолету, заботливо помогая выбраться из сугробов маленькому человеку, высоко подбравшему полы непомерно длинной шубы. «Человек в очках» первым подбежал к машине. Я с трудом опознал его в полутьме.

— Двоих возьмешь? — крикнул он, надрываясь, чтобы перекричать мотор.

Прохор кивнул.

— Гляди же, — крикнул партизан, — человек этот мне дороже всего! Ты за него отвечаешь.

Прохор снова кивнул. Спутники партизана легко подняли человека в длинной шубе и бросили в заднюю кабину. За ним полз «человек в очках». Я стал вытаскивать колодки из-под колес, но вдруг Прохор жестом подозвал к себе начальника отряда:

— А обещание? Дай слово, что исполнил.

«Человек в очках» согласно закивал:

— Не только слово могу дать, но даже квитанцию принес. — Он обернулся к своим людям и принял у них из рук длинный черный предмет. Я различил футляр скрипки. — Вот тебе доказательство. Храни.

Прохор жадно схватил скрипку и сунул себе в кабину. Через минуту в воздухе появилась его большая перчатка. Я выдернул колодки. Взыл мотор. Снежный буран метнулся из-под винта. Машина побежала, подняла хвост и с характерным для Прохора рискованным разворотом взмыла над лесом.

Было почти уже совсем светло, когда самолет Прохора, прижатый к земле меткими очередями советских истребителей, был ими прижат к сугробам первого попавшегося поля. С автоматами наготове к самолету бежали бойцы. Прохор встал на сиденье и поднял руки.

— Сдаюсь! Первый раз в жизни сдаюсь. Не стрелять товарищи! — крикнул он. — Неровен час, пассажира моего подстрелите, а я за него головой отвечаю.

Бойцы вытащили из задней кабины пассажира. Когда тот скинул большие очки. Прохор оттолкнул стоявших по бокам бойцов и неудержимо метнулся вперед: перед ним стояла Стефа.

Они пошли к штабу. Прохор весело повторял бойцу, несшему футляр со скрипкой:

— Гляди не оборони. Это самый дорогой подарок, какой я получал когда-либо в жизни.

А вечером в штабе, когда Стефа сдала привезенные ею важные оперативные документы противника и я хотел было, как обычно, прощупать эфир, Прохор отвел мою руку от приемника. Он бережно принес из-за перегородки черный футляр со скрипкой и протянул его Стефе.

Через несколько минут командиры, затаив дыхание, слушали скрипку. Ипра Стефы была поистине вдохно-

венна. Прохор тихонько сидел в уголке и блестящими глазами следил за тонкой рукой, водившей смычком. Когда мелодия оборвалась, Прохор вскочил, подбежал к скрипачке и порывисто протянул руки. Все мы сделали вид, что очень заняты своими разговорами. В дверях горницы показался начальник штаба армии, рядом с ним шел старенький сутулый человек с круглой бородкой, в старых железных очках. Проходя мимо Стефы, он как бы невзначай бросил:

— Ты готова?

— Да, — не оборачиваясь, ответила она.

— Пора, — так же коротко бросил «человек в очках» и вышел следом за начальником штаба.

— Куда? Куда пора? — удивленно спросил Прохор.

— Обратно, — сказала Стефа.

— Я ничего не понимаю! — В голосе Прохора слышалось беспокойство: — Куда обратно, зачем?

— В тыл к немцам, — просто ответила Стефа. — Надо работать. Каждый должен бить врага чем может: ты самолетом, я — скрипкой.

— Скрипкой... скрипкой, — машинально повторил Прохор. Он схватил ее маленькие руки своими огромными тяжелыми лапищами и крепко-крепко сжал. — Этой самой чудесной скрипкой?

Она молча кивнула. Он ответил ей таким же кивком и выпустил ее руки.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Горячее сердце	3
Слепень	9
Человек в очках	21
Музыкант	27
Точка зрения	36
Адъютант	45
Пятьдесят бесконечностей	50
Чудесная скрипка	60

Редактор *А. К. Виноградов*

A50238. Тираж 25000 экз. Подписано
к печати 24/IV 1942 г. Печ. л. 2,5. Авт.
л. 3,18. Печ. зн. в л. 59200. Зак. 288.

Цена 1 р. 25 к.

Типография „Красный печатник“
Гос. изд-ва „Искусство“. Москва,
ул. 25 Октября, 5.

1 р. 25 н.

